

ЮРИЙ ПИОНЕРОВ

ЛЕВ СТАРОВ

ГРАЧ



НАЗАД В 90-е

ТОМ 2



Юрий Пионеров
Грач. Назад в 90е Том 2

«Автор»

«Автор»

2026

Пионеров Ю.

Грач. Назад в 90е Том 2 / Ю. Пионеров — «Автор», «Автор»,
2026

В день своего пятидесятилетия Данила Грачёв отдал за кекс последнюю мелочь: его торговую империю забрали люди, которым он доверял. А утром он проснулся двадцатилетним. На кухне мать печёт пирожки, отец бережёт девять тысяч на «Жигули», за окном — ноябрь 1991-го. Через пятьдесят два дня эти деньги почти ничего не будут стоить. Данила знает, что случится с ценами. Но знание не купишь в магазине и не предъявишь вместо денег. Есть дембельские триста рублей, голодный друг Бугай с плечами грузчика и сестрёнка, которая требует расписку даже за четырнадцать рублей. Есть ещё отец: он лучше доверит сыну сварочный аппарат, чем семейные сбережения. За несколько недель Даниле нужно превратить эту горсть рублей в дело, которому поверит отец. И сделать это на рынке, где каждый удачный товар замечают быстрее, чем успеваешь пересчитать выручку. Успеет ли Грач занять своё место — прежде чем его займут другие?

© Пионеров Ю., 2026

© Автор, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	14
Глава 4	19
Глава 5	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Грач. Назад в 90е Том 2

Глава 1

В пятнадцать пятьдесят от кольца пошёл Мазай.

Я узнал его за сорок шагов. Олег Мазаев, двадцать шесть лет, бывший боксёр, кандидат в мастера, бритый, с носом, сломанным дважды и оба раза в одну сторону. Кожанка распахнута, под ней спортивный костюм, а на правом запястье, на кожаной петле, висела дубина, чёрная, деревянная, бейсбольная, концом вниз. Шёл он, и она качалась у колена, как маятник.

С ним шли двое: Бык, у которого шея шире головы, как у борца, а глаза маленькие, и пониже ростом, круглый Шайба. За ними, отстав на шаг, шагал Гиря.

Площадь перед ним расступалась. Люди не разбегались, а просто делали шаг вбок. Старуха с носками свернула свою верёвку, мужик с водкой спрятал бутылки за пазуху.

Я знал его по той жизни: тот качал битой на петле, когда думал, и бил, когда уставал думать. Имя я держал при себе, потому что пацану с раскладушкой знать его неоткуда.

Колян уже стоял за доской. Голос у него стал вдвое тише.

Мазай подошёл и встал напротив, через раскладушку. Оглядел доску, жестянки с бантами в три ряда, уже поредевшие, Коляна, Серого, Бугая, который вырос за плечом, и меня. Пришёл посмотреть, сколько наторгую, прежде чем назвать процент, чтобы взять больше. Я видел, как он считает.

— Твоё место? — прищурился Мазай и спросил, качнув битой на петле; конец её черкнул воздух у самого угла раскладушки.

— Моё, — ответил и кивнул на раскладушку.

— Кто разрешил? — Мазаев шагнул ближе и переспросил; бита замерла у колена, а подбородок дёрнулся на товар в три ряда.

— Дежурная по станции, — бросил и мотнул головой на стеклянные двери. — Три её шага от дверей.

— Я не про двери. Я про площадь. — Он качнул битой, перехватил её у петли на правом запястье и чуть подался вперёд. — Ты чё, пацан, попутал, на чьей земле стоишь?

— На своей доске. — Я притронулся к раскладушке, придерживая её ладонью. — Остальное земля государственная. Аренду не выяснил.

Бугай за спиной кашлянул, и стало ясно, что тот смеётся в кулак. Мазаев покосился на него и оглядел снизу вверх, будто прикидывал, с какого бока заходить.

— А шкаф этот чей? — поинтересовался Мазаев, задрал подбородок на Бугая и подтянув дубину к бедру.

— Мой, — выдохнул и положил ладонь на доску. — Кормлю хорошо.

— Заметно, — обронил тот и покосился на Коляна, который вжал шею в плечи.

— С моими людьми торгуешь. — Мазаев склонил голову набок и постучал битой по голенищу.

— С вашими, с его, с их, — усмехнулся и отсчитал пальцем три ряда жестянок. — У людей не спрашиваю, чьи они. Спрашиваю, сколько возьмут.

Колян стал глядеть на свои ботинки.

Мазай помолчал. Бита качалась. Тень от неё, длинная, закатная, лежала на доске поперёк моих жестянок, как шлагбаум.

— Олег, чего тянуть? — подал голос Бык, обводя взглядом мою доску. — Касса вон, ящики вон. Возьмём, и всё.

— Тихо. — Тот повернулся к киоску и прижал биту к запястью другой рукой. — В понедельник поговорим.

Это прозвучало при площади, спокойно, как приговор, у которого есть дата.

Повернулся к Коляну и при Мазаеве голоса не понизил.

— Коля, остаёшься, — объявил я, подошёл вплотную и упёрся кулаком в край раскладушки. — Двойной процент, и завтра, и всю неделю. Считай вслух, чтоб не путаться.

Колян поднял лицо, поглядел на меня, на Мазаева и сглотнул.

— Понял, хозяин, — отозвался он и спрятал руки за спину.

Выгони я его сейчас, Мазай понял бы, что я понял. Пусть лучше неделю носит ему то, что я сам ему покажу.

А гостю ответил одним:

— К понедельнику так к понедельнику. Счёт к тому времени будет готов. — Переложил жестянку с края ближе к середине и сунул руки в карманы, покачиваясь на носках.

Тот смотрел на меня секунды три, на Коляна, снова на меня. Хмыкнул, коротко, носом — тем самым, сломанным дважды, — развернулся и зашагал к кольцу. Бита качалась. Шайба пошёл за ним сразу, а Бык оборачивался дважды и сверлил меня из-под бровей, запоминал.

Народ вокруг выдохнул, и стало слышно, как говорят. Старуха с носками сказала соседке, а мужик с водкой мужику с водкой:

— У Грача Вадькины торгуют. — Старуха с носками перехватила верёвку поудобнее и показала ею на меня.

— А Мазай к нему сам пришёл. — Мужик с водкой качнулся на пятках и распрямил плечи. — Сам.

— До понедельника дал. — Бабка с носками перекинула верёвку через локоть и мотнула ею на кольцо. — Мне он столько не давал. Мне он в тот же день сказал.

У Грача торгуют чужие люди, и к Грачу пришёл хозяин. Вот что видели ряды. За один день, с шести утра до четырёх, стал тем, к кому хозяин приходит сам.

— Даня, — Бугай наклонился ко мне и тронул за плечо, — а до понедельника — это много?

— Пять дней, Толян. — Загнул пальцы на руке и размял кисть.

— А за пять дней он чего сделает? — Бугай разогнулся и поскрёб затылок.

— Посчитает, сколько наторговал, и назовёт цену. А за пять дней посчитаю, сколько он стоит. Кто первый назвал цену, Толян... — Потянулся к крайней жестянке и поправил этикетку на соседней, разгладив её двумя пальцами.

— Тот и заплатил, — Бугай хлопнул себя по бедру и хмыкнул. — Запомнил. Ты это всегда говоришь.

Мазай ещё не дошёл до кольца, когда подошёл Вадик.

Я ждал Вадика: тот должен был подойти с деньгами, с пачкой, которую носил у себя на груди. Бугай за плечом тоже ждал: чувствовалось, как тот напрягся. Колян и Серый косились на бывшего хозяина.

Вадик нёс в руке термос, Бугаев, наш, закрученный, и иней блестел на нём. Подошёл к доске и не посмотрел ни на Коляна, ни на Серого, даже не кивнул, будто их и не было за моей доской.

— Термос хороший, Даня. — Он протянул термос мне и повёл пальцами по крышке. — Чай у тебя, да.

— Думал, ты его себе оставишь. — Принял и взвесил на ладони.

— Я чужого не беру. Я обмениваю. — Он засмеялся, легко, с ямочкой, и сунул руки в карманы. — Придётся, Даня. Все приходят.

Повернулся и пошёл, а уходя заложил два пальца в рот и свистнул. Красный «петушок» отделился от Вадиковой доски и пошёл не к нему, а к трамвайной остановке на кольце, к той, откуда уходят сормовские. Встал там, сунул руки в карманы и стал ждать.

Рука Вадика ещё раз легла на грудь, на кожанку, где лежала пачка, и там и осталась.

Весь день Вадик повторял за мной каждый шаг, а сейчас взял и перестал. Своих он не выкупил. Отдал нашу посудину, как отдают проигранную партию, и кинул своё «придѣшь» — при двух командах, при старухе. Для всей округи это прозвучало как обещание: Грач без Вадика не устоит, Грач прибежит. Промолчать значило согласиться при людях.

Отвинтил крышку. Кипятка внутри осталось на треть. Из кармана бушлата достал распечатанную пачку со слонем, ту, образцовую, с утра, и всыпал в крышку щепоть. Налил кипятка. Заварка пошла красным, из крышки потянуло чаем.

Я поднял крышку и позвал через площадь.

— Приходи ты, Вадим. — Приподнял её навесу и чуть наклонил к нему. — Чай у меня всегда горячий.

Вадик остановился, обернулся и поглядел на крышку, потом на меня. Площадь смотрела на него.

— Да я не хочу, Даня, — улыбнулся он, но слишком быстро, и отвёл глаза. — Я уж сегодня начаевничался.

— Ты замёрз, Вадим. — Держал крышку с чаем навесу и чуть повёл ею в его сторону. — Пей.

Отказаться при людях, у той самой доски, где утром его грузинский всплыл палками, выходило хуже, чем выпить. Он понял это сразу — он всегда понимал такие вещи сразу.

Он вернулся, взял крышку и выпил залпом, горячее, не поморщившись, при своих. Потом вернул мне пустую посудинку.

— Нормально заварено, — пробормотал он и вытер губы ладонью.

Колян фыркнул в кулак. Серый улыбнулся одними глазами, первый раз за день.

Вадик ушёл к своим пятерым, лёгкий, светлый, и мохеровый шарф развевался у него за спиной. Смотрел ему вслед и улыбался. Точно так же, как улыбается он, когда проигрывает. Этому у него научился в школе, в трясучку, за гаражами, и вот пригодилось.

Термос в руке был тёплый. Этот человек через тридцать четыре года заберёт у меня всё. А сегодня он допил мой чай. Закрыв термос пустой крышкой и подкрутил её до упора.

Красного «петушка» на остановке видел краем глаза. Мальчишка на трамвайной остановке на кольце — обычное дело. Там их с утра полно: бегают, продают, ждут. Вернулся к банкам.

— Тридцать восемь! Тридцать девять! Хозяин, тридцать девять! — Колян считал проданные банки вслух, как велено, и стучал костяшками по ящику.

В шестнадцать сорок фонари на площади начали зажигаться. Солнце село в шестнадцать двадцать шесть, и небо над вокзалом стало сначала розовым, потом лиловым, потом тёмно-синим, как чернила. Мороз взялся за уши.

— Пять осталось, — ответил и придвинул к себе вырубку. — Серый, вечерний расчёт держим в левом кармане, сдачу отсчитывай из правого.

Серый молча согласился. Оставалось пять банок, и они дорабатывали их вдвоём.

Батя встал со скамьи.

Он вставал размяться, прохаживался у скамьи, не выпуская тетрадки, но свой судейский пост не оставлял. За день у него набралось две страницы палочек, пальцы покрылись фиолетовым карандашом, а шапка и усы заиндевели. Потянулся, и стало слышно, как хрустнула у него спина. Подошёл и взял меня под руку, крепко, как берут под конвой.

— Пошли, — буркнул он, трогая меня за плечо и шагая к киоску.

— Куда? — спросил я, повернув голову к нему и семеня рядом.

— Туда, где людей много. — Он махнул в сторону киосков и сильнее потянул меня за плечо. — Спор при людях решают.

— Какой спор? — Придержал его руку и глянул в сторону киоска.

— Который ты знаешь, — цедил он, потянув меня за локоть и сворачивая к пирожковому киоску.

У киоска курили торговцы с обеих половин. Кольцо было границей, но у пирожков её переходили все. Здесь стояли Мазаевы бабки и Кузины перекупщики, и все грели руки о бумажные кульки с пирожками. Жестяная будка светилась изнутри, пахло жареным тестом, ливером и луком.

— Значит, так. Счёт надо пересчитать. — Он остановился прямо среди торговцев и заговорил громко, на весь киоск.

Торговцы замолчали. Кто-то обернулся.

— Какой спор? — спросила бабка с носками и подошла ближе.

— Вот этот. — Он ткнул в меня пальцем. — Он говорил, что сделает за день больше моей месячной. А я говорил, что в феврале он пойдёт ко мне в сварщики. — Он повернулся ко мне. — Торговал ты на отцовские. Восемь тысяч в вагон с моей книжки. А после обеда и ящик мой. Так?

— Так, — подтвердил я, приложив ладонь к груди и глянув отцу в глаза.

Прав он оказался наполовину. Отцовские восемь тысяч ушли в вагон, из того вагона вышли и утренние наборы, а после полудня я торговал его сгущёнкой. Он оказался прав, и торговцы у киоска это понимали и смотрели на меня: что ответит пацан.

— Ишь, хитрый мужик, — фыркнул кто-то из Кузиных перекупщиков и сплюнул под ноги. — Деньги-то, выходит, его.

— Парень, ты не тушуйся, ты им покажи, — добавила та же старуха и стукнула кульком по ладони.

Мне нужно было выиграть честно, так, чтобы он не мог сказать, что выиграл он, а не я, его же деньгами. Расстегнул бушлат, вынул из внутреннего кармана всю выручку и выложил на жестяную полку окошка, под свет лампочки.

— Считаем при людях. Смотри. — Я отступил на полшага, освобождая отцу место, и повёл ладонью над деньгами: вставай, гляди сам.

Сначала вынул из военного билета отдельную пачку и убрал обратно.

— Это задатки на субботу. Товар по ним ещё не отдал, в спор они не идут. — Похлопал по карману, где лежал военный билет, и убрал руку.

Отец шагнул к окошку, пригнулся под лампу и стал разглядывать купюры. Я начал раздвигать их по жести, вслух, горкой за горкой.

— Слева твоё. — Раздвинул купюры пальцами и отодвинул левую стопку к нему.

— Не спеши к себе в карман, — нахмурился он и накрыл деньги рукой. — Сначала по наборам: где ушло, где вернулось, где твоя работа.

— На полторы сотни наборов ушло триста рублей: чай, сахар, банки, всё по ноябрьскому счёту. — Отсчитал это и отделил влево, к нему. — Закупка ушла, а январский оборот мы сегодня заново не считаем.

— Значит, наборы с моих, — вздохнул он и подровнял край левой горки ногтем. — Это вижу. А где твоя работа?

— А вот, смотри. Один набор без банки я не продавал, один ушёл заведующей как проба, один распечатанный образец остался мне. Сто сорок семь проданы за три тысячи шестьсот семьдесят пять. Вычитаем триста — остаются три тысячи триста семьдесят пять. Это моя работа. — Развернул к отцу правую пачку и постучал по ней средним пальцем.

— А три, которые не продал, за чей счёт? Ты их мне не оставляй, Данька. — Отец накрыл ладонью свою левую пачку и подвинул её ближе к себе, затем ткнул пальцем в сторону правой.

— За мой. — Приложил ладонь к груди и покачал головой. — Закупка возвращается тебе за всю партию, за все полторы сотни, и за пробу с образцом тоже.

— Ладно, эти твои. — Он откинулся от окошка и снова подался вперёд. — А ящик? Сгущёнка тоже моя.

— Сорок пять банок. Тридцать девять проданы за девятьсот семьдесят пять, пять ещё у метро, одна Люське — за весы и место. Твой личный ящик выкупаю целиком, сейчас, по два рубля за банку — выходит девяносто. — Стукнул костяшками по краю окошка и кивнул на лежащие деньги.

— И за те, что на доске стоят? Я потом за ними бегать не буду. — Отец медленно повернул голову к метро и указал рукой в ту сторону, где на доске остались банки сгущёнки.

— И за них. — Пересчитал оговорённое и подвинул под его руку. — Ящик целиком покупаю. Остаток товара теперь мой, и подарок Люське за мой счёт.

— Вот теперь считаем. Раз — закупка слева. Два — деньги за ящик там же. Дальше — остаток вправо. — Пересчитав оставшиеся купюры, я сдвинул их вправо.

— Считай, считай, — буркнул он и придвинул тетрадку под лампочку. — Я слежу.

— Справа остальное, моё. — Пододвинул правую горку ближе к отцу и прижал сверху.

Из правой стопки вернул в январский карман сегодняшние покупки — они уже были оплачены, теперь дневная торговля возмещала их. Пятьдесят рублей всего: сорок — лента, пятёрка — мешок картошки у продавщицы с Бора, ещё пятёрка — проезд и багаж. Отложил пятьсот за Вадикову пару: брак тоже куплен, из сегодняшнего заработка его не выкинешь. Тут же отсчитал заработанное Коляном и Серым — сто девяносто пять на двоих, по пять за проданные банки. Колян пересчитал своё дважды и сунул за пазуху, Серый молча спрятал. Бугаю положил двести за день. Отложил девяносто два: две монеты по рублю за весы, двадцать за Вадикову копию, тридцать за чернослив и недельный аванс — ровно столько же, сколько вышла лента. Бугай взял деньги и оглянулся на Люськину будку: теперь ему было с чем туда идти. Только после этого подвинул стопку к отцу и убрал руку.

Глава 2

— Три тысячи двести двадцать три. Без задатков, без твоего товара, без проезда, ленты, чужой работы, двух весовых монет, Вадиной копии, чернослива и недельного аванса. Могу ещё раз. — Я развёл ладони над обеими частями выручки, показывая пустое место между ними, и отступил от окошка.

— Не глухой, — отрезал отец и наклонился над стопкой. — Считаю.

— Глянь-ка, и на расходы отложил, — присвистнул кто-то из торговцев и подтолкнул соседа локтем.

— Да она толще, чем моя зарплата! — выдохнул кто-то и махнул рукой на правую стопку.

Он не шевельнулся. Тысячу восемьсот пятьдесят рублей знал до копейки: это была его последняя январская выплата после повышения, он получал её в окошке кассы и пересчитывал на ходу. Смотрел на правую стопку, руками не трогал.

Потом он повернулся к окошку.

— Два с ливером. — Отец положил на прилавок рубль и подтолкнул его продавщице.

— Два с ливером, — кивнула продавщица и взяла у отца рубль. — А ты, значит, тот самый Грач. С утра все про твой чай рассказывают.

— Я, хозяйка. — Поднял руку и шагнул к прилавку.

Она подала два пирожка в бумаге и сдачу с рубля. Он взял сдачу, не глядя: всё ещё косил глазом на правую стопку.

Взял его ладонь со сдачей, раскрыл её и одним пальцем раздвинул монеты по ладони. Двадцати копеек в них не доставало.

— Двадцать копеек, хозяйка, — улыбнулся и положил монеты на полку окошка. — Батя у меня сегодня судья. Ему нельзя.

Продавщица посмотрела на монеты, потом на меня.

— Ну и дотошный ты, — проворчала она под нос, по-свойски, и доплатила двугривенный, выложив его на полку так, будто он был из чистого золота и она отрывала его от сердца. — На, держи. С сердцем отрываю.

Кто-то из торговцев хлопнул себя по коленке.

— Ну, этот своего не упустит, — сказала бабка с носками и подняла палец.

Батя захохотал.

Так он смеялся на базе в ноябре, над ящиками со сгущёнкой, а в той жизни ни разу после девяносто второго. Шапка съехала на затылок, иней посыпался с усов. Хохотал, согнувшись, и хлопал ладонью по жестяной полке так, что двугривенный на ней подпрыгивал, и торговцы смеялись вместе с ним, сами не зная над чем.

— Ты чего? — спросила бабка с носками, вытирая глаза. — Над чем смеёшься-то?

— Проиграл! — выдохнул он, всё ещё хлопая по полке. — Я проиграл! Сын говорит: руками не обязательно. А я ему: руками надо! Двадцать пять лет руками!

— Это он тебе так и сказал? — спросил Кузин перекупщик и наклонился к батю.

— Сказал! И доказал! — Он ткнул пальцем в правую стопку и хлопнул ладонью по прилавку. — Двадцать копеек у хозяйки нашёл, сопляк!

Потом он отдышался, вытер глаза и протянул мне пирожок, горячий, в промасленной бумаге.

— Вот теперь вижу, что торгаш, — рассмеялся он и хлопнул по полке. — Я тебе, Данька, говорил: руками надо. А оказывается, и головой можно, если допуск соблюдать. Ешь. Проиграл я.

Взял пирожок.

Правую стопку убрал во внутренний карман, левую свернул и сунул батю в карман пальто.

— Отдашь матери, — кивнул на его карман и сжал ладонь в кулак. — В банку.

— В сварщики тебе в феврале не идти. — Помолчал он, похлопывая по карману. — А в марте посмотрим.

— В марте посмотрим, — согласился и откусил пирожок.

Он взял тетрадку, поглядел на свои две страницы палочек и сунул обратно в карман, рядом с деньгами.

— Тетрадку себе оставляю, — проворчал он и засунул её поглубже. — Мало ли что.

Спор кончился. Он при чужих людях, при Мазаевых бабках и Кузиных перекупщиках, бросил «торгаш» и заплатил пирожком.

Пирожок был горячий. Ливер жёг язык, и на морозе из надкуса валил пар, как из трубы. Откусил ещё. Он жевал рядом и больше не смотрел с проверкой. Смотрел на площадь, на мою раскладушку у дверей метро, где Колян досчитывал вслух последние банки, где Бугай сидел на мешке картошки. Так он смотрит на свой сварочный участок, когда смена отработала хорошо и шов лёг ровно.

— Сорок четыре! — заорал Колян через площадь и вскинул пустой ящик над головой. — Хозяин, всё! Пусто!

Колян с Серым подошли к киоску с кассой, и я отсчитал им ещё двадцать пять рублей за последние пять банок из вечерней выручки. Сто двадцать пять пришло, двадцать пять ушло людям; от дня мне осталось три тысячи триста двадцать три. Отцовскую закупку я уже вернул всю, вместе с непроданными тогда банками.

— Слышал? — Откусил пирожок и показал им на отца.

— Слышал, — ответил он, держа свой пирожок в руке и глядя на доску. — Это у вас называется учёт?

— Это называется сдача смены. — Поднёс остаток пирожка ко рту и прожевал.

— Сдача смены, — повторил он и усмехнулся в усы. — Ладно. Допускаю.

Я ел пирожок и смотрел туда же. На остановке у кольца всё так же стоял красный «петушок» и смотрел на мою раскладушку.

— Багажные! — Я приложил к окошку кондукторши два талона и придержал их ладонью, чтобы она дочитала до конца. — На неделю вперёд, там написано. Раскладушки, мешок, вот этот товарищ.

— Товарищ тоже по талону? — Кондукторша подняла глаза на Бугая. Тот встал на подножке, перекинув обе раскладушки на плечо, а свободной рукой прижимая к боку мешок картошки, и вагон под ним присел на одну сторону.

— Я пассажир, — прогудел Бугай басом, втискиваясь внутрь и задевая раскладушками потолок. — Я ж не шкаф, чтоб за меня багажный брать.

— Шкаф и есть, — сказала кондукторша, оторвала нам три билета и захлопнула окошко так, что стекло звякнуло.

Трамвай тронулся в половине шестого. Темнота на площади сгустилась ещё в пять, мороз к вечеру набрал силу, и с Оки тянуло так, что у бати на усах выросла седая корка поверх седины. Батя сел у окна, я напротив, лицом по ходу. Бугай встал в проходе: раскладушки к стенке, мешок в ноги. Колян с Серым ушли пешком за вокзал, где они живут. Вагон был жёлтый, тёплый от дыхания, за стёклами висела чёрная пустота, и фонари проплывали редкими пятнами. Вечернее стекло работает зеркалом: я видел в нём бату, свою шапку, Бугаев локоть и заднюю площадку за кондукторшей.

На задней площадке мелькнула красная вязаная шапка с помпоном. «Петушок». Под ней прятался мальчишка лет пятнадцати, тот самый, что днём бегал Вадиковым продавцам за грузинским чаем и за лентой. Влез в салон последним и пристроился за спину кондукторши, как за стенку. В стекле его было видно лучше, чем с соседнего сиденья.

Отец жевал пирожок, проследил за моим взглядом и сам нашёл «петушка» в стекле, без подсказки.

— Вон, — проговорил отец и перестал жевать. — Петушок. Днём у Вадькиных джинсов крутился, я его приметил. — Вытер усы ладонью и мотнул головой к выходу. — На кольцо возьму за шиворот и спрошу, кто таков. У нас в цеху электроды тридцать лет таскают, и вся наука одна: хватай на выходе, пока не разбежался.

Бугай услышал «хватай», придвинул поклажу к стенке плотнее и расправил плечи, отчего в проходе стало темнее.

— Я его, Даня, вежливо, — пообещал он и показал двумя пальцами, как берут под ручку. — Под ручку.

— Толян, сядь на свой мешок, — бросил я, кладя отцу руку на колено. — Батя, сиди. Он за нами до дома поедет. Пусть поедет.

— А тебе зачем такой провожатый? — Батя повернулся ко мне всем корпусом, и пирожок в его руке замер на полпути ко рту.

— Вадим хочет знать, откуда у меня товар. Вот пусть и посмотрит, откуда: гараж, замок, твои полки. — Я откинулся на спинку сиденья и придерживал отца за локоть, чтобы он не дёрнулся ловить хвост.

— Гараж мой! — Отец ткнул в меня пирожком и отвёл руку с ним прочь. — Ты мне по моему гаражу экскурсии водить собрался?

— Экскурсия наружная, батя. Замок, стены, ворота. Внутри «петушок» не зайдёт, а снаружи пусть считает сколько хочет. Кто первый назвал цену, тот и заплатил, а Вадим цену пока не назвал. — Мотнул головой на окно и покрепче взялся за поручень.

Батя посмотрел на меня долго. В двадцатилетнем лице он видел что-то, чему в таком лице взяться неоткуда, и я знал, что он это видит. Потом он сел глубже, повернулся к стеклу и стал смотреть в него, как в телевизор.

— Как в кино, ей-богу, — пробормотал он и доел пирожок. — Только билеты дороже.

Бугай выпустил воздух так, что на стекле расплылось мутное пятно, и опустил плечи.

На сормовском кольце я вышел последним и под фонарём снял с Бугаева плеча одну раскладушку, переложил на своё, поправил долго и с чувством, чтобы красный «петушок» успел выпрыгнуть из заднего проёма и спрятаться за столб. Потом мы пошли по Коминтерна медленно, по светлой стороне, мимо гастронома. В витрине Тамары Лукиничны горел свет, и на пирамиде из консервов сидел картонный Дед Мороз, забытый с Нового года.

Шапка держалась в тридцати шагах. Мальчишка шёл, как ходят все пацаны, которым велели следить: то подбирался слишком близко, то вдруг останавливался и топтался у столба. У киоска «Союзпечать» он присел за будкой.

Мы свернули за дом, к гаражам. Батя открыл замок на четырнадцатом, и Бугай занёс внутрь свою раскладушку; вторую, мою, я поставил там же, у полок, чтобы не тащить наверх лишнего. Мешок картошки Толик поставил у ворот, наружу.

— Мешок домой, на кухню, — бросил, кивнув на картошку. — К ночи на улице держать нельзя, промёрзнет. Свою раскладушку, Толян, тоже забирай — у меня починишь.

— Её Люськина мать есть будет, — произнёс Толик с такой нежностью, будто картошка и была Люськина мать. Потом развернулся ко мне всем своим большим телом. — Даня, а вдруг мать картошку возьмёт, а меня в дом не пустит?

— Возьмёт картошку — возьмёт и тебя, Толян. Картошка в доме на первом месте, ты на втором. У многих женихов хуже. — Я перехватил картошку поудобнее и кивнул отцу, возившемуся с замком гаража.

Батя запер гараж. Толик понёс свою раскладушку, я понёс мешок в квартиру. Мы обошли дом и вошли во второй подъезд. На лестнице между первым и вторым этажом он остановился, перегнулся через перила и заглянул в пролёт.

— Идёт? — прошептал он, как в разведке, и втянул голову в плечи.

Внизу хлопнула входная дверь, тихонько, как хлопают, когда боятся быть услышанными.

— Идёт, батя, — сказал я и потянул его за рукав наверх. — Ужинать пошли.

Мать налила нам щей. Бугай съел две тарелки и половину третьей. Батя рассказывал ей про площадь, про пирожок и про двадцать копеек, которые я вытряс из продавщицы.

— Двадцать копеек, Валя, с продавщицы! — Он стучал ложкой по краю тарелки и улыбался в усы. — Она ему: «Нет у сдачи». А он ей: «А вы поищите». И нашла! Из кармана халата достала!

— Ой, господи. — Мать поставила кастрюлю на плиту и посмотрела на меня поверх неё, как смотрят на сына, про которого ещё не решили, радоваться или бояться. — Даня, это законно вообще? Нет, не говори. Отец узнает — что будет? — Она осеклась и глянула на батю, который уже облизывал ложку. — Ой, господи. Ешь давай.

— Открывай, Данька! Я шпану поймала! — Клюка стукнула палкой в дверь три раза, сухо, деревом, потом прислонила палку к косяку и перехватила пацана за ушко.

Было половина десятого. Батя сидел в зале перед телевизором и спорил с программой «Время» про цены, Машка делала уроки у себя, Бугай на кухне чинил ремень своей раскладушки, лопнувший ещё на Новый год: Толик с тех пор спал с провисшим задом, как в гамаке, и не жаловался. Я считал на кухонном столе выручку дня и раскладывал её по стопкам: матери в банку, на субботу, на Москву, если придётся.

Я открыл. На площадке стояла баба Зина в шерстяном платке и валенках с галошами. Одной рукой она держала пустое мусорное ведро, другой — ухо мальчишки в красной шапке. Палка стояла у косяка. Зина зажала ухо двумя пальцами, как бельевого прищепкой, и мальчишка стоял на цыпочках.

— Вот! — Она тряхнула пацаном и задвинула ведро поближе к стене. — Под лестницей сидел! В колясках! Я ведро несу, а там шмыгает! Сопли морозил! Коляски воровать! Даня, ты свидетель. Я его в опорный, к Гусеву, пусть протокол пишет!

— Тётяшка, ухо! — Мальчишка поднялся на цыпочки ещё выше и вцепился рукавицей в Зинину руку. — Я не воровал, я просто...

— Просто! — Зина крутнула ухо на четверть оборота и перехватила ведро поудобнее. — Просто у нас только в сказке бывает!

Из зала выглянул батя в майке, с газетой в руке.

— Зинаида Фёдоровна, ухо — деталь ответственная, — сказал он и свернул газету в трубку. — Оторвёте — выйдет брак, Гусев такое и принимать не станет.

Бугай встал у меня за спиной и заполнил собой коридор. Машка высунула нос из своей комнаты, и глаза у неё загорелись.

— Настоящий вор? — прошептала она и подалась вперёд всем телом. — Даня, а можно я на него посмотрю?

Глава 3

Парнишка смотрел в пол и сопел. Нос покраснел, губы посинели, из-под «петушка» торчала мокрая чёлка. Под лестницей первого этажа стоят три коляски и детские санки, там пахнет кошками и сыростью, и просидеть в этом закутке в январе можно только ради обещанной трёшки. Зине нужна была слава, мальчишке трёшка, мне имя и целый мальчишка, который понесёт моё слово дальше.

— Зинаида Фёдоровна, вы его поймали, вам и слава, — проговорил я, наклонившись к самому её платку и роняя голос до заговорщицкого. — Завтра весь двор узнает, кто у нас в подъезде порядок держит. Только Гусев из него ничего не вытянет: будет сопеть, как сейчас, до утра, а утром отпустит. А мне он скажет. Если дадите его ушам пять минут передышки.

— Я? Ухо? — Зина вскинула ведро и чуть не задела им Бугая. — А кто мне потом расскажет?

— Я. Первой. Раньше Гусева. — Я придержал дверь плечом и глянул на Зину, чтобы она не тянула мальчишку дальше.

Зина посмотрела на меня с подозрением, потом на руку, потом на пленника и разжала пальцы. Тот помял рукавицей освобождённое ушко, но с площадки не побежал: Зина замерла у лестницы пограничным столбом, с ведром наперевес.

Я поправил ему съехавший «петушок» и заговорил тихо, как с покупателем, который ещё сомневается.

— Звать как? — Опустил взгляд на парнишку и подался ближе к двери, отрезая выход.

— Юрка. — Шмыгнул носом и покосился на Зину.

— Юрка, слушай меня. Сейчас ты можешь уйти отсюда без Зинаиды Фёдоровны и без Гусева. Трёшку от того, кто тебя послал, получишь за сведения. Но сначала: кто послал? — Я присел перед ним на корточки и поднял ладонь, показывая, что не трону.

Парнишка поднял глаза: мокрые и хитрые разом, как у всех пацанов его возраста, которые знают, что мир продаётся, и ещё не знают почём.

— Никто, — буркнул и убрал варежки за спину. — Я сам. Я ж ничего не брал.

— В трамвае тоже сам? И до гаража за нами сам дошёл? — Я выпрямился и скрестил руки на груди.

Юрка вжал голову в плечи.

— Я не воровал! — выпалил он и топнул валенком.

— Не про коляски спрашиваю. Кто велел за мной ходить? — Стукнул костяшкой по двери и снова перекрыл проход.

— А если я скажу, а вы не отпустите? — Он прищурился, сразу примериваясь к разговору, как к торгу, и переступил с ноги на ногу.

— Я для чего Зину уговаривал? — Мотнул на неё и развёл руками. — Отдать Гусеву она и без меня может. А я тебе говорю: назовёшь — уйдёшь.

Тот глянул на лестницу, где Зина караулила с ведром, потом снова на меня.

— И трёшку получу? — спросил он шёпотом и облизнул посиневшие губы.

— За сведения тебе заплатят, не за ночёвку под лестницей. Кто послал, Юрка? — Наклонился к нему, не сводя глаз.

— Вадим... — выдавил он наконец и уткнулся взглядом в пол.

— Вадим кто? — Я поднял бровь и ждал, не подсказывая.

— Лисовский. — Выдохнул и вытер нос рукавицей. — Велел за вами ходить. Куда вы, туда и я.

— Он сам тебе это сказал? — Придержал его за плечо и чуть наклонился, чтобы услышать каждое слово.

— Сам. Больше ничего, честно. Я коляски не трогал. — Поднял на меня мокрые глаза и часто заморгал.

— Да понял я про коляски. — Махнул на лестницу и отступил от двери, освобождая дорогу. — Иди.

Парнишка попятился к ступенькам. Зина шагнула наперерез, я бросил: «Зинаида Фёдоровна», — и она отступила, недовольная. Пацан загрохотал валенками вниз, по перилам шоркнула варежка.

— Толян! Завтра с утра в универмаг. К Римме. С коробкой! — Я перегнулся через перила и крикнул вниз, следя, чтобы хвост услышал до последнего пролёта.

— С какой коро... — начал Толян, и я наступил ему на ногу. Толик, умница, осёкся. Внизу хлопнула дверь подъезда, на этот раз от души.

Зина стояла на площадке и не уходила.

— А мне? — спросила она и шагнула ко мне. — Я поймала.

Уговор у нас с Зиной с середины января: каждый вечер она приносит тетрадку, куда переписала цены Тамары Лукиничны, а я даю ей сахар. Сахар вагона кончился вместе с вагоном. Пошёл на кухню, разыскал в шкафчике над плитой последний кулёк рафинада, припасённый матерью для гостей. Зина взвесила кулёк на ладони, как ювелир, сунула в карман под пальто и протянула мне тетрадку.

— Хлеб подняла, — сообщила она шёпотом, как сообщают про покойника, и подвинула ведро ближе к двери. — Белый. Опять! Данечка, я сама видела, как Тамарка ценник переклеивала, и весы у неё врут на полста граммов.

Я открыл тетрадку. Круглым учительским почерком, под сегодняшней датой, было написано: «Хлеб бел. — ...» и цифра, подчёркнутая дважды, со злостью.

— Спасибо, Зинаида Фёдоровна. — Я закрыл тетрадку и сунул её в карман.

— Шпану я завтра всему двору опишу, — объявила она уже громко, на всю площадку, и погрозила клюкой в чёрный пролёт. — Красная шапка! Пусть знают!

Она ушла вверх, стуча клюкой по ступенькам. Машка вылезла в коридор целиком.

— Даня, а зачем ему в универмаг? Мы ж там больше не берём. — Машка дёрнула меня за рукав и заглянула в лицо.

— Кто «мы»? — Я прищурился и посмотрел на неё сверху вниз.

— Ну... мы. — Она замялась и спрятала руки за спину.

— Иди уроки делай, «мы», — закончил я и подтолкнул её к комнате. — Завтра на большой перемене у тебя работа.

— У-ни-вер-маг, — прочитал Бугай по слогам и почесал затылок под шапкой. — Даня, а внутри что?

— Воздух, Толян. Зато универмаговский. — Я постучал костяшкой по пустой коробке и повернул её надписью «Универмаг» к Толику.

Было половина восьмого утра, ещё темно. Я стоял в гараже у задней стены с угольком из сторожки в руке и только что обновил углём выцветшую синюю надпись «Универмаг». С другого конца двора её должен был прочитать даже тот, кто читает по слогам. Коробка из-под польских сапог стояла здесь с ноября. Сорок таких мы с Бугаем тащили в ноябре через Канавино на санках, тридцать девять ушли на растопку соседям, а эту я приберёг, сам не зная для чего. Руки торговца сами откладывают тару, и любая коробка когда-нибудь пригодится.

— А зачем нам воздух? — спросил Бугай и поёжился от холода в гараже.

— Не нам. Вадиму. — Подхватил тару под мышку и кивнул Толику на выход. — У него с вечера любопытство, а любопытным положено показывать. Выходим.

Юрка уже ждал на лавке у второго подъезда: та же красная шапка, лицо зелёное, валенки подобраны. Приехал первым трамваем, в двадцать пять шестого, и промёрз до костей. Секунду мне его стало жалко: Вадим платил трёшку, а пацанёнок отдавал за неё ночь.

Красную шапку Толик заметил издали и двинулся на неё, раскинув руки, как на медведя.

— Я его сейчас до кольца провожу. Под ручку. — Толик шагнул навстречу, загородил дорогу плечом и расплылся в медвежьей улыбке.

— Толян, трамваем на семь тридцать пять. К чёрному ходу универсама. Отдашь Иванычу, скажешь: от меня. Сегодня мне нужен свой человек у той двери. — Поймал его за локоть и вложил в ладонь пачку «Беломора».

— А этот? — Бугай кивнул на лавку и спрятал пачку за пазуху.

— Этот со мной. — Я хлопнул его по плечу и подтолкнул к кольцу.

— У людей шпиона за шиворот берут... — Толик покачал головой и скосился в сторону лавки, как на недоеденный пирожок. — А у тебя он под мышкой с ящиком ходит. Всё у тебя, Даня, не как у людей.

Широким шагом, вздымая валенками снег и неся отремонтированную раскладушку, Толик ушёл к кольцу. Хвост на лавке отвернулся и сделал вид, что ждёт кого-то. Вчера его взяли за ухо, и сегодня держал дистанцию в полдвора. С полдвора хвост ничего не услышит, а мне нужно было, чтобы слышал.

Коробку я поставил на лавку рядом, надписью к нему, достал бечёвку и стал перевязывать, крест-накрест, узел, снова крест-накрест, как перевязывают что-то ценное. Пустая коробка, перевязанная бечёвкой, выглядит полной. Юрка скосил глаза на надпись и больше их не отводил. Я заговорил сам с собой вслух, с досадой, как говорят люди, которым некому пожаловаться:

— Вдвое, значит. Ну-ну, Римма Павловна. Поглядим, что вы мне в универсаме скажете, когда я с этой красотой приду. — Затянул узел и натянул бечёвку над лавкой, будто никто не слышит. — Парень, время не скажешь?

Он сглотнул. Глянул на небо, прикинул по свету, потом на меня.

— Полвосьмого есть, — просипел он и спрятал руку в варежку.

— Успею к открытию, — сказал я, взял коробку надписью наружу и пошёл со двора медленно, к остановке «Больница», через школу, длинной дорогой.

Через двадцать шагов за спиной закрипели валенки. Хвост перестал прятаться и двинулся за тарой.

— Даня! — Машка поймала меня у школьной ограды за рукав и дёрнула к себе, кивая через плечо на толпу у конкурента. — Они все к нему ушли!

Она стояла в пальто нараспашку, шарф на одном плече, две косы из-под шапки, щербинка между передними зубами светилась, как прорезь копилки. Руки в боки. В этой позе я в её возрасте стоял перед отцом, и откуда она её взяла, я знаю: у зеркала.

У школьного крыльца под фонарём стоял восьмиклассник с длинной чёлкой, как у героя фильма про мафию, который шёл той зимой во всех видеосалонах. Санёк Корзун, Санёк-Мафия. Вокруг него толпились Машкины подружки Ленка и Света: Ленка протягивала ему монеты, Света уже жевала.

Санёк увидел Машку и меня, и ему стало весело. Он крикнул через ограду, звонко, на весь школьный двор:

— Восемьдесят копеек! Жвачка! — Он поднял над головой яркий прямоугольник и помахал им, как флажком. — Налетай, пока есть!

— Восемьдесят! — Машка дёрнула меня за рукав так, что затрещал шов, и зло топнула ногой. — У меня рубль, а у него восемьдесят! Даня, дай мне товар дешевле, чем у него! Я его задавлю!

— Дешевле — это его игра. — Я отцепил её пальцы и повернул к себе. — У него старший брат на вокзале торгует, у брата опт, он тебя в копейки уронит. Будешь играть в его игру — проиграешь.

— А что тогда? Сидеть и смотреть, как Ленка ему монетки носит? — Она выпустила мой рукав и вцепилась в ограду, глядя на конкурента.

— Вот именно, смотреть. — Я присел перед ней на корточки и заглянул ей в глаза. — На большой перемене не продавай. Только смотри, что у Санька в обёртках. Разверни одну у Ленки, понюхай, пожуй. Вечером расскажешь.

— Шпионить? — Она округлила глаза и подалась ко мне.

— Разведка. Покупатель не дурак, Машка, он просто торопится. Пока он торопится, мы смотрим, за что он платит. — Я накрыл её руку своей и чуть отвлёк от ограды.

Машка надулась. Щёки у неё надуваются, как у отца, когда он проигрывает в домино.

— А за разведку платят? — Машка нависла надо мной, заглянула в лицо, всё ещё держась за ограду.

— Тем, кто вернулся с донесением. Вечером. — Я прижал коробку под мышкой и шагнул к трамвайной остановке.

Она кивнула. Моя сестра умеет злиться и слушаться одновременно: в торговле такому учатся годами, а у неё врождённое. Юрка ошивался в двадцати шагах, у столба, со скупающим видом, а коробку «Универмаг» я держал под мышкой. Двинулся к остановке — и он двинулся следом.

— Проходите в салон! — Кондукторша стучала ладонью по стенке тамбура и расталкивала спины. — Задняя площадка, не висните, товарищи! Двери закрыть не могу!

Трамвай к центру Сормова набился так, что створки сомкнулись только с третьего раза. Первая смена уже прошла через проходную, теперь ехали конторские в пальто с каракулевыми воротниками и школьники в другие школы. Втиснулся в передний тамбур, прижал коробку к груди. Юрка забился на заднюю площадку, и его помпон торчал там над чужими плечами, как поплавок.

На пересадке толпа вынесла меня из вагона, как пробку. Я устоял на ногах с коробкой в руках и оглянулся: за мной створки захлопнулись. Юрку прижало изнутри, помпон завалило вбок, и трамвай увёз его на следующую остановку.

Я вернулся на остановку пересадки и поставил коробку на сугроб у столба, надписью к дороге. Сугроб был грязный, утопанный, и коробка стояла на нём, как на постаменте. Я сунул руки в карманы и стал ждать.

— Сынок, а чего у тебя коробка на снегу стоит? — спросила старушка в пуховом платке, ждавшая рядом, и наклонилась к сугробу. — Замёрзнет ведь.

— Она у меня с утра устала, бабушка. Пусть отдохнёт. Зато её видно с любого трамвая. — Я похлопал коробку по крышке и прислонился плечом к столбу.

— Вот чудак. — Старушка фыркнула и отодвинулась от меня подальше.

Через семь минут со стороны следующей остановки выскочил Юрка. Бежал по обочине, красный от мороза и страха, валенки шлёпали, шапка уехала набекрень. Увидев коробку на сугробе, сбавил шаг и сделал вид, что гуляет. На него я не глянул ни разу. Подошёл мой трамвай; дождался, пока хвост влезет на заднюю площадку, и только тогда поднялся сам.

Когда я поднимался в свой вагон, с соседнего пути в ту же сторону отходил другой: тот, которого Бугай ждал на этой пересадке. Толик простоял здесь все пятнадцать минут своей форы, и теперь его вагон трогался. В заднем стекле, во весь рост, стоял Толик, раскладушка при нём. Он видел всё: меня у столба, коробку на сугробе, ожидание и прибежавший хвост. Он зажимал рот рукавицей и трясся так, что вагон качался вместе с ним. Потом он отнял рукавицу и прокричал что-то через стекло. Я разобрал по губам: «Даня, он прибежал!» Я показал ему большой палец.

Вечером Юрка скажет Вадику, что не отстал ни на шаг, и скажет правду. Я его ни на шаг и не отпустил.

— Это твой, что ль? — Иваныч ткнул папиросой в сторону мусорных баков и сплюнул под ноги. — Шапка красная, за тобой притащилась. Чего ему надо? Шугануть?

Пальма услышала «шугануть» и рванула цепь.

Двор универсама утром весь в сугробах, дворник только начал скрести. У будки сторожа рвалась на цепи рыжая собака с белой грудью и лаяла басом, как бывший прапорщик. Иваныч сидел на табуретке у будки в ватнике и курил «Беломор» из свежей пачки. Пачку ему вручил Бугай, пришедший раньше меня. Сам Толик маячил за углом, у дворницкой, с раскладушкой под мышкой, и изображал человека, которому поручили стеречь санки. Торговля в универсаме начинается в десять, а Римма Павловна сидит в кабинете с восьми, и я знаю это лучше её заместителя: в первой жизни я простоял под её дверью не один час. Юрка остановился за мусорными баками.

Ещё полминуты, и Иваныч поднимется с табуретки и спустит Пальму, а мальчишка умчится к трамваю, ничего не услышав. Весь мой утренний спектакль уйдёт на собачий лай.

Глава 4

— Иваныч! — сказал я громко, на весь двор, как на площади, и поставил коробку «Универмаг» у будки, аккуратно, как ставят пустую тару на возврат. — Передай Римме Павловне: к пятнице ещё сорок коробок. На весь вокзал. Я ж там теперь торгую, у метро.

— Сорок? — Иваныч заморгал. Слово «вокзал» он переварил, слово «сорок» тоже, и затянулся, чтобы подумать. — Это ж, значит, опять сапоги?

— Это, Иваныч, как Римма Павловна скажет. — Я развёл руками и подмигнул ему.

Из-за баков вышел Юрка. Он подошёл к Иванычу мимо меня, как мимо фонаря, достал из варежки мятый рубль и сунул сторожу.

— Дядь, мне к директору. — Он переминался с ноги на ногу и не поднимал глаз.

Иваныч покосился на рубль, на меня, на пацана. В кармане у него лежал мой «Беломор», собака рвалась на цепи, и я ждал, что он выберет. Он опустил рубль в тот же карман, где лежал «Беломор». Карман у Иваныча один на всех. Потом махнул на Пальму, та легла, и сам повёл пацана в склад.

Моя ложь шла сейчас к Вадику и к Римме одновременно, и к Римме в лицо, через какого-то пацана в красной шапке, до того как я успею с ней договориться. Пошёл следом.

Склад в полуподвале, стеллажи до потолка, запах картона, резины и нафталина. Иваныч шёл впереди, шаркая, Юрка за ним. Мы прошли мимо седьмого и восьмого стеллажей. На верхних полках в дальнем углу, за коробками с галошами, в ноябре стояли мои сапоги, а сейчас там лежали одни галоши, чёрные, блестящие, штабелями. Я обогнал Иваныча на лестнице, поднялся на второй этаж первым и встал в коридоре у двери с табличкой «Директор».

Дверь открылась на голоса. Римма Павловна Згурская, сорок восемь лет, высокая, крупная, с причёской башней, которую каждое утро строят в парикмахерской через дорогу, с двумя кольцами на каждом пальце и дублёнкой, наброшенной на плечи, как мантия. Она вышла в коридор, посмотрела на меня, на Иваныча, на красную шапку и взяла Юрку за рукав двумя пальцами, не хуже бабы Зины.

— Кто такой? — Голосом, от которого у её кладовщиков дрожат накладные. — Кто послал, мальчик? Говори, пока я добрая. — Она придержала Юрку за рукав и шагнула вместе с ним к двери кабинета, отрезая путь к лестнице.

Юрка открыл рот. Ещё секунда, и он скажет «Вадим Лисовский», и Римма узнает про хвост раньше, чем я успею с ней поговорить, и начнёт считать, что это за Лисовский и почему за Грачёвым ходят.

— Мой покупатель, Римма Павловна. Провожает меня, коробку нёс. Сейчас назад пойдёт. — Встал между ними и положил ладонь Юрке на плечо, по-хозяйски, тяжело.

— Покупатель, — повторила Римма и отпустила рукав. — Данечка, у тебя теперь покупателя с красными ушами и в пятнадцать лет? Я в твои годы покупателей по ведомости искала.

— Растёт смена, Римма Павловна. Вы сами учили: товар любит тёплые руки. — Развернул Юрку к лестнице и довёл до площадки.

Она прищурилась и посмотрела так, как смотрят на накладную, в которой цифры сошлись слишком гладко.

— Иваныч, выпусти. — Стоял спиной к Римме и ладонью показал вниз, за спину мальчишки.

Иваныч, уже ничему не удивляясь, повёл мальчишку вниз. Я обернулся к Римме через плечо, не останавливаясь:

— Я к вам днём. По делу. — Уже переставлял ногу на ступеньку ниже и пальцами сжимал шапку.

— Жду, — обронила Римма и закрыла дверь.

Во дворе Юрка припустил к трамваю так, что красный помпон мотался по спине. Мальчишка уносил одну фразу: «Сорок коробок у Риммы, к пятнице, на весь вокзал». Этого хватит, чтобы отработать трёшку. Бугай вышел из-за угла дворницкой.

— Всё? — Он перехватил сложенную раскладушку под мышкой, переложил из руки в руку и смотрел на дверь подъезда, будто ждал, что оттуда кто-то выйдет.

— Всё, Толян. — Размял замёрзшие пальцы и двинул через двор к воротам.

— А Иваныч-то, Даня! Он же наш! Мы ему «Беломор», а он этому рубль взял! — Бугай дёрнул подбородком на будку и сплюнул под ноги.

— И рубль взял, и «Беломор» взял. Карман у Иваныча один на всех. В ноябре знал это, а в январе забыл. Простого сторожа всё равно недооцениваю. — Поднял воротник бушлата и зашагал быстрее, чтобы он не видел моей злости на себя.

Двадцать лет в теле, пятьдесят пять в голове, а простого сторожа уже записал в свои.

— Это как — недооцениваешь? — Догнал меня Бугай в два шага и пошёл рядом, ссутулившись.

— Это когда думаешь, что сторож за тебя, а он за всех. Поехали на площадь, Толян. Посмотрим, кто нам без товара поверит. — Толкнул калитку и указал ему на трамвайную остановку.

На площадь мы приехали к десяти. На моём месте, в двух метрах от дверей метро, на повороте потока к трамваю, мы поставили бугаёвскую раскладушку — он привёз её из дому, ту самую, что чинил ночью. Колян и Серый ждали пустое место, а теперь Колян прыгал с ноги на ногу и лузгал семечки, Серый стоял неподвижно, как столб, и молчал, как всегда.

— Торговли нет, — выпалил Колян вместо «здравствуй» и затоптал окурок валенком.

— Торговли нет, — согласился я, взялся за спинку бугаёвской раскладушки и подтянул ближе к повороту потока, к самому метро. — Покупатели есть. — Поправил воротник бушлата, запахнул плотнее и встал у доски, как у прилавка.

Мы простояли у пустой доски три часа, и к нам подходили вчерашние.

— Молодой человек! — Тётка с Автозавода, вчерашняя, поставила сумку на наледь и придержала её ногой. — Наборы ваши где? Я ради них с утра ехала, у нас в цеху девочки просили.

— В субботу будут, Галина Ивановна. Лучше, чем вчера. — Расстегнул бушлат, вынул из внутреннего кармана военный билет.

— Лучше? Вчера хорошие были. — Прищурилась и подняла воротник. — Вы меня, прошу прощения, не обманываете? Запишите, если не обманываете.

— Записываю. — Вынул из билета лист и вписал: «Галина Ивановна, Автозавод, три». — Деньги возьму в субботу, вместе с товаром, из рук в руки.

— Вот это по-человечески. — Она подобрала сумку с наледи и пошла к метро, оглядываясь.

Следом подошли двое путейцев и пожилой инженер в каракуле.

— Почём будет? — Инженер не вынимал рук из карманов и топтался, дыша в шарф.

— Скажу в субботу. Вам с чаем или по-новому? — Развернул лист, нашёл на нём место под фамилию и занёс карандаш над бумагой.

— По-новому — это как? — Он выпростал одну руку и пошевелил пальцами, будто уже щупал товар.

— Увидите. Фамилия? — Постучал карандашом по краю листа и придержал его второй ладонью, чтобы не загибался на ветру.

Он назвал, и я записал.

— Почему без денег? — не выдержал Колян, когда пятый ушёл, пожав плечами. Перестал лузгать и растопырил ладони. — Вчера ж брал.

— Вчера было что показать. Сейчас одно слово. Деньги за слово возьму вместе с товаром. — Щёлкнул карандашом по листу, где стояли фамилии, аккуратно сложил его вдвое и убрал в военный билет. — Пусть сначала увидят, за что платят.

— А если не придут? — Колян перестал прыгать и устался, будто впервые поверил.

— Придут. Покупатель не дурак, Коля, он просто торопится. Раз пришёл сегодня, придёт и в субботу. — Я хлопнул его по плечу и кивнул на очередь к метро.

К шестидесяти вчерашним наборам дописал ещё одиннадцать: Галине Ивановне три, остальным по одному.

Около полудня, когда солнце вылезло над вокзальными часами и наледь у дверей заблестела, Серый повернул голову к кольцу и заговорил:

— Мазаевы. Олег сегодня злой. С утра по бабкам прошёлся. — Серый снова замер и спрятал руки в карманы.

— Много собрал? — Присел на раскладушку и подпёр подбородок кулаком.

— Бабки плакали, — выдавил Серый и замолчал. Смотрел в землю и переступал валенками.

Это было самое длинное, что доводилось слышать от Серого за два дня.

Колян отошёл «покурить» и направился к трамвайному кольцу. Я видел, как он встал у бордюра рядом с Гирей, квадратным, бритым, в кожанке поверх спортивного костюма, и пять минут говорил, кивая на нашу пустую доску. Гиря слушал и загибал пальцы. Я смотрел на них от раскладушки и молчал.

Колян вернулся, лузгая семечки, как ни в чём не бывало.

— Холодно, — объявил он, поёжился и подтянул воротник, пряча за ним глаза.

— Холодно, — согласился я и продолжил тем голосом, каким говорят о погоде, при Сером: — Коля, к обещанному дню у меня будет товар, какого у Олега нет. Так ему и передай, если спросит. — Отвернулся к потоку и стал смотреть на вокзальные часы.

Колян поперхнулся шелухой и покраснел от шеи до кроличьей шапки.

— Я... это... курить ходил, — выдавил он, потянул шапку на лоб и принялся отряхивать рукав. Шелуха всё ещё липла к губе.

— Знаю. Кури на здоровье. Только с Гирей говори погромче, Коля. Он с утра глуховат. — Вытер ладонь о бушлат и посторонился, пропуская женщину с сумкой.

Серый хмыкнул. Колян устался на свои валенки. Думал, что я слеп, а слова ему подали так, будто он носит Мазаю вести с моего благословения, и теперь предстояло жить с этой мыслью. Пусть несёт. Пусть Олег полнедели думает, чего у него нет.

— Садись. — Римма отложила верхний лист, выровняла стопку ладонью и только после этого чуть повела подбородком на стул рядом со столом. Глаз от бумаг даже не подняла.

Я поднялся к ней в половине четвёртого. Кабинет у неё тёплый, как предбанник: батарея под окном шпарит, на подоконнике столетник в горшке, на стене портрет министра, которого уже нет, рядом календарь с котятами. Римма сидела за столом без дублёнки, в кофте с люрексом, и кольца блестели, когда она перекладывала бумаги. Склад был для меня закрыт со вторника. Ещё в начале января прислала она гонца с вестью, что следующие сапоги пойдут вдвое. Сапоги мне тогда не требовались, остальной товар шёл по прежней цене, а потом Римма закрыла склад совсем, решив, видно, что мальчику пора понять, кто в Сормове хозяйка у полок. Мне к субботе нужны были чай, рафинад и сгущёнка на семьдесят один набор, и других знакомых полок в городе у меня не было. Я шёл открывать склад тем, что сказал утром у будки: сорок коробок, весь вокзал, пусть увидит, какого покупателя вырастила.

Я сел. На столе перед ней лежала визитная карточка универсама, и на обороте круглым почерком было выведено: «Лисовский».

— Объясни мне, Данечка, — Римма постучала ногтем по карточке и пододвинула её ко мне краем. — Почему меня после обеда спрашивает какой-то Лисовский. Мальчик с

вокзала. Кожанка турецкая, шарфик, вот тут ямочка. — Она показала на свой подбородок и усмехнулась. — Улыбается и улыбается. «Коллега Грачёва». Сорок коробок к пятнице хочет. Дороже тебя. Живыми.

Так мой хвост прошёл по моему следу до конца и сделал то, что на его месте сделал бы я сам: пришёл к источнику и предложил больше.

— И что вы ему ответили, Римма Павловна? — Я наклонился вперёд, опершись локтями на колени.

— Карточку. — Римма улыбнулась, и золотой зуб сбоку блеснул. Она перевернула карточку Лисовского чистой стороной и постучала по ней пальцем. — Я, мальчик мой, не дура, первому встречному с площади склад открывать. Но теперь я знаю, что мальчики с площади платят больше. Склад я открою. Только раз ты берёшь товар на весь вокзал, то и я беру с тебя как со всего вокзала. На всё вдвое. Не только на сапоги. Я тебя, Данечка, на этом складе учила: цену назначает тот, у кого ключ.

Она откинулась на спинку стула и сложила руки на груди, и кольца легли одно к одному. Она знала, что мне некуда идти, и я знал, что она знает. В первой жизни я проглотил в этом кабинете не одно «вдвое», и каждый раз после этого Римма держала меня на полшага ближе к себе. Первый же рубль скидки она записала бы себе в доказательство, что без неё мне никак.

— Кто первый назвал цену, тот и заплатил, Римма Павловна. — Я встал и застегнул бушлат. — Вы назвали. Вдвое — это вы Лисовскому продайте, пусть он вашим товаром на вокзале по вашей цене и торгует. А я сам привезу. Из Москвы.

Римма засмеялась мне в спину. Смеялась она хорошо, грудью, как смеются директрисы на банкетах.

— Из Москвы он привезёт! Там тебя, мальчик мой, на перроне съедят. Вместе с валенками! — Она хохотнула и хлопнула ладонью по столу.

— Съедят, так вы первая узнаете, за сколько. — Я оглянулся через плечо и улыбнулся одними губами.

И прикрыл дверь осторожно, двумя пальцами, до щелчка язычка. Столетник на подоконнике даже листом не качнул.

На лестнице я думал про Вадика. Он пришёл сюда за моим источником, а ушёл с визиткой и больше ничего не получил. Пусть поищет теперь другую дорогу. Моя дорога пойдёт через Москву, и ни Римма, ни Вадим Лисовский её не увидят.

— Вот. — Машка разгладила ладонью на кухонном столе розовую бумажку, потом подцепила за уголок и развернула к свету. — Турецкая подделка.

Было половина восьмого вечера. Она вошла на кухню так, как входит на планёрку начальник смены, у которого есть доклад, и села напротив меня. Обёртка была розовая, с кривыми буквами, похожими на иностранные, а внутри лежала пустая бумажка без вкладыша.

— Резина розовая, — докладывала Машка, отковыривая ногтем уголок и поднося её к лампе. — Как ластик. Сладкая пять минут, потом как подошва. Светка жевала, говорит, челюсть болит. Внутри ничего. Я у Ленки выпросила развернуть.

— Молодец. — Я откинулся к спинке стула и постучал по столу костяшками.

— Молодец — это когда я его задавлю. — Машка упёрла локти в стол и подалась вперёд, свернув бумажку трубочкой. — Достань мне такую же дешёвую. Я по семьдесят поставлю! По шестьдесят! Он сдохнет!

Глава 5

— Ты сдохнешь раньше. — Я подвинул трубочку обратно и постучал по ней пальцем. — У тебя по шестьдесят выходит в ноль.

— Зато он тоже! — Машка дёрнула плечом и собрала ладони в замок.

— Его брат на вокзале завтра привезёт ему сто штук по сорок. — Я откинулся и посмотрел в стену за её головой, не мигая. — И ты будешь стоять со своими шестьюдесятью, как дура, а все будут жевать его ластик. Это его игра, Машка. Он в ней вырос.

— Кто держит покупателя, тот назначает цену. — Она ткнула в меня трубочкой, как указкой, и откинулась с видом учителя. — Ты сам говорил.

— Держит тот, у кого есть то, чего нет у других. — Я забрал бумажку из её пальцев и положил на середину стола. — У Санька ластик. У тебя будет другое.

Машка замолчала и нахмурилась. Завтра купить у Санька его подделку и перепродать дешевле было бы её первой большой глупостью, и я не хотел, чтобы она случилась.

— Я еду в Москву. — Я поднялся и положил ладонь на спинку стула. — Привезу тебе жвачку с вкладышами. Такой у него нет и не будет. С тебя задаток: десять пластинок из первой пачки мне.

— Восемь. — Машка замотала головой и спрятала руки под стол.

— Десять. — Я нагнулся через стол и поставил на клеёнку раскрытую ладонь.

— Девять, и я тебе её отдам. — Она вытащила руки, прижала розовую бумажку и снова положила перед собой.

— Её ты мне уже отдала. — Я придвинул её к себе указательным пальцем и накрыл ладонью. — Десять.

Машка протянула руку через стол, как отец протягивает на спор. Я пожал её. Ладонь у сестры была маленькая, горячая, в чернилах.

— Десять. — Она вытерла ладонь о штанину и выпятила подбородок. — Но чтоб с машинами!

— Кузьмич сегодня в обед шапку забрал, — с порога гаража, без «здравствуй», выпалил отец. Он был в рабочей телогрейке, после смены так и не переоделся и берёт эту новость с самой курилки, переминаясь с ноги на ногу и стучая рукавицами одна о другую.

— Какую шапку? — Я щёлкнул выключателем и обвёл глазами полки. Лампочка под потолком осветила пустые полки и два ящика у задней стены: отцовский «чёрный день». Три он держал с января, один ушёл в среду на площадь, когда к полудню опустели мои доски. В гараже пахло морозом и старым машинным маслом.

— Ставки. — Отец шагнул внутрь и притворил за собой дверь, отсекая холод. — Цех на тебя ставил, по рублю в Кузьмичову шапку. Против тебя все, а за тебя один Кузьмич. — Стянув одну рукавицу, он зажал её под мышкой и старался держать лицо ворчливым, но выходило у него плохо. — В обед он её перевернул, и всё его. Твою банку, что ты на себя ставил, в курилке открыли, на общий чай. Кузьмич пил и говорил: «За торгаша Грачёва». Весь участок пил.

— А ты? — Я приподнял бровь и постучал пальцем по краю стола.

— Пил сгущёнку и помалкивал, как мастер. — Отец провёл ладонью по усам, и в усах у него спряталась улыбка, а сам отвернулся к полкам, будто искал что-то. — Ну, скажу тебе, банка — первый сорт. Без брака.

— Батя, я ночью в Москву, — выговорил я, застёгивая верхнюю пуговицу и отступая к двери.

— В Москву? — Он поднял голову и обернулся ко мне всем корпусом. — Ночью? Один?

Я положил на стол девять тысяч своих, из моей половины январской торговли и вчерашнего заработка. Материну банку с мукой не трогал. Задатки на субботу лежали отдельно в военном билете: пока товар не отдан, это чужие деньги.

— С Толяном. Римма поставила вдвое, а к субботе у меня семьдесят один набор записан, и чем я их кормить буду, это моё дело. Только везти на обмен мне нечего. — Я сложил деньги в две пачки, обвёл их пальцем по краям, ровняя, и потянул было к себе. — В дороге у каждого своя мзда: проводнику за место, носильщику за поклажу, дежурной в метро за габарит. Заплачу деньгами, приеду в Москву с половиной денег. — Я придвинул пачки к себе и накрыл ладонью.

— Мзда, — проворчал отец. Он стянул вторую рукавицу, сунул обе под мышку и поглядел на заднюю стену гаража. — У нас на заводе такое называется «брак», а у вас, значит, «такса». Ну и что ты им повезёшь, резцы?

Я промолчал. Отец подошёл к задней стене, упёрся плечом и потянул ближний ящик из тени на свет, следом второй. Оба проскрежетали по бетону, выезжая на середину.

— Бери, — сказал он и толкнул ближний носком сапога. — На обмен в дороге.

— Батя, это ж твоё. — Я присел на корточки и положил ладонь на крышку. — На чёрный день.

— Чёрный день. — Отец нагнулся ко мне и взял за плечо. — Это когда ты до Москвы едешь, а на тебе ни одной банки. Бери, говорю.

— А если не довезу? — Я сидел на корточках и перебирал пальцами край крышки. Потом поднял глаза на него.

— Тогда моя сгущёнка станет московской. — Он выпрямился и махнул рукой на дальний. — Бери, пока не передумал. Я долго не думаю, ты знаешь.

Второй раз за два дня отцовский запас уходил в моё дело. В среду он загораживал мне эти ящики у двери гаража, а теперь сам отодвигал их от стены. Я протянул ему руку, и он пожал её коротко, по-мастерски.

На ящике у двери сидел Бугай. Красный, как рак, он крутил в руках шапку и мял её так, будто выжимал.

— Даня. — Толик потёр колено и поднял на меня круглые глаза. — Не поеду.

— Как не поедешь? — Я выпрямился и глянул на него поверх крышек.

— Мне к Люське. Я её матери мешок обещал. Не приду — и всё, она на меня больше не посмотрит. Второй раз с пустыми руками, сказала, и хватит. — Он сжал шапку и вдавил её в колени. — Не в деньгах счастье, Даня, а в Люське.

— А в Москве счастье в мешках, Толян. — Я подошёл и ткнул кулаком ему в плечо. — Один я до Рижского не донесу и полтонны не привезу обратно.

— Понимаю, — отозвался Толян несчастно, комкая шапку у груди. — Но я упрямый.

Толик упрям, как бульдозер: если бульдозер встал, его можно только заправить. Мне нужны были его плечи, ему нужна была Люська.

— Мешок донесём по дороге. Её двор в Канавине, как раз по пути к вокзалу. Отдашь до поезда. — Я присел на ящик и хлопнул его по колену. — А в Москве куплю тебе для неё платок. Московский. Такого ни у одной весовщицы на площади нет. Ни у одной.

Толян поднялся медленно, в три приёма, как поднимают домкратом грузовик. Распрямился, макушкой задел лампочку, и она закачалась. Глаза у него видели в эту минуту не гараж, а целую свадьбу с гармонистом.

— Павловопосадский? — спросил он шёпотом, прижимая шапку к груди. Слово он знал.

— Какой найдём. — Я поднялся с места, подхватил дальний ящик за угол и подтащил вплотную к первому, к самому свету.

— А если с розами? Она розы любит. — Толян привстал на носках, прижимая шапку к груди.

— Значит, с розами. — Я откинул крышку первого и кивнул на второй: давай.

Сгущёнку мы пересыпали из ящичков в два мешка, девяносто банок. Ящички в поезде не понесёшь, углы бьют в спину, а мешок на плече садится сам. Потом зашли в квартиру за картошкой: Толян шагнул в угол, вскинул куль картошки на плечо, как пустой.

— Твоя картошка ночевала у бати, — сказал я и хлопнул по мешку. — Довезём.

После этого Толян взвалил на себя один мешок сгущёнки, а на него картошку; я взял второй мешок сгущёнки, а сумку с деньгами держал под бушлатом. Батя проводил нас до сортового кольца. На остановке он поправил мне шарф, как в первом классе.

— Смотри там, — буркнул он и пошёл домой, не оглядываясь.

— Здесь, — сказал Бугай и остановился у калитки. — Вот тут они живут.

Частный сектор Канавина — деревня, которую город обступил со всех сторон и забыл снести. Деревянные дома стояли по окна в сугробах, за заборами из штaketника в каждом дворе лаяла собака, и лай перекачивался от двора к двору, как эхо. Фонари горели через один. Мы шли от трамвая двадцать минут, и Бугай нёс картошку и мешок сгущёнки, дыша ровно, в такт шагу, как на армейском марш-броске. За калиткой с железной щеколдой стоял дом в три окна, дровяной сарай и тропинка к крыльцу, в одном окне горел свет и висела занавеска в цветочек. Было десять вечера, до поезда больше полутора часов.

Бугай поставил мешки на снег и постучал в калитку тихонько, как стучат в дверь реанимации.

Через минуту на крыльцо вышла женщина. Тётя Дуся, Люськина мать, в валенках на босу ногу и пуховой шали поверх ночной рубашки, с кочергой в руке. Она увидела двух парней с мешками у своей калитки в десять вечера и сделала вывод быстрее любого следователя.

— Ещё чего! — тётя Дуся шагнула к перилам крыльца, перехватила кочергу двумя руками и выставила её перед собой, будто указку на доске. — Женишки с вокзала! Шпана! Мешками тут трясти! А ну пошли от калитки, пока я собак не спустила!

— Тётя Дуся, я... — Бугай сник, как проколотый, шагнул назад. — Я Толик. Я к Люсе.

— К Люсе он! — тётя Дуся ткнула кочергой в сторону дома и стукнула его по перилам. — Люся спит, ей в шесть вставать, а вы тут гремите! Знаю я таких: сегодня мешок, завтра «выходи за меня», а послезавтра «дай сто рублей до получки»!

Щеколда звякнула сама от её голоса. Бугай взял мешок за горловину, и я понял: сейчас он повернётся и уйдёт, и завтра Люська узнает, что он приходил и опять ушёл с пустыми руками, потому что мешок у калитки, которую не открыли, всё равно что пустые руки.

Я подошёл к калитке и заговорил громко, чтобы слышно было в доме, за занавеской в цветочек:

— Тётя Дуся! Мешок картошки, отборной. Ночь пролежал у бати в квартире, не мёрзлая, ни одной гнилой. Цена — ноль, если Людмила разрешит Толику носить ей мешки на весовую. Не разрешит — несу на вокзал, там продам по рублю кило. Мешок полный, считайте сами. — Я ногой качнул куль, что Бугай поставил у калитки, и развёл руками, показывая объём.

— По рублю кило? — Тётя Дуся открыла рот и закрыла, и кочерга опустилась. В арифметике она была сильна, это у них в роду: мешок картошки по рублю кило в январе, за такие деньги можно и потерпеть на крыльце. — Это ж пятьдесят рублей!

— Пятьдесят пять, по весу. — Я присел и повёл ладонью у горловины, показывая объём. — А вам ноль.

— Так не бывает, чтоб ноль, — сказала тётя Дуся подозрительно, поднимая кочергу на уровень груди. — Где подвох?

— Подвох у вас на кухне, тётя Дуся. Сидит и слушает. — Я кивнул на занавеску в цветочек и шагнул к калитке вплотную.

Занавеска в окне колыхнулась.

Люська вышла на крыльцо в ватнике, накинутом на плечи, в платке, и волосы из-под платка торчали после подушки. Круглолицая, румяная, от мороза или от злости, я не разобрал.

Она отодвинула мать плечом, как табуретку, спустилась к калитке, отодвинула щеколду и взяла мешок сама, двумя руками. Мешок оказался ей тяжёл, она даже присела под ним, но Бугая не позвала, и Бугай стоял и не смел пошевелиться.

— Значит, так, Толька, — сказала Люська, выпрямившись и прижав мешок к животу. — Во-первых, картошку берём. Во-вторых, с понедельника в семь на весовой, не в полвосьмого и не в восемь. В-третьих, матери «здравствуйте» скажи, она тебя полчаса как не любит. Повтори.

— Картошку берём, — выдавил Бугай, шагнув к тёте Дусе и поклонившись ей через калитку. — В семь. Здравствуйте.

— Носи, центнер, — сказала Люська и подхватила мешок поудобнее. — С понедельника.

Она понесла мешок в сарай, пошатываясь и останавливаясь через каждые три шага. Тётя Дуся крикнула с крыльца: «Люда, простынешь!» — и ушла в дом, хлопнув дверью.

Бугай взвалил на плечи сгущёнку. Всю дорогу до вокзала он молчал и улыбался в темноту так широко, что встречный постовой у Канавинского рынка обернулся и долго смотрел нам вслед.

— Толян, — сказал я на подходе к вокзалу, заходя с ним плечо к плечу. — С понедельника в семь ты каждое утро на весовой у Кузи. На её ряду.

— Буду, — сказал Бугай блаженно, кивая собственным мыслям.

— Вот и слушай там всё. Кто что говорит, кто кому что несёт. — Я пошёл с ним в ногу и подтолкнул его плечом.

Он посмотрел на меня обиженно: любовь, а я про дело. Потом подумал и кивнул.

— Любовь делу не мешает, Даня, — Бугай перехватил свой мешок сгущёнки поудобнее и шагнул шире. — Я в армии поваров любил за то, что они кормят, и никому от этого хуже не стало.

В пять минут двенадцатого в кассовом зале Московского вокзала я купил два купейных в седьмой вагон ночного на Москву.

— Последние. — Кассирша пересчитала сдачу и протянула мне билеты через окошко. — Повезло вам, молодые люди.

Мне было двадцать лет, и у меня были последние билеты, два мешка сгущёнки и друг с разбитым от счастья лицом. Я сунул билеты за пазуху, и мы пошли на перрон.

— Мешки — как места, — сказал Дубов и поставил сапог на мешок сгущёнки. — Два мешка, два места. Вдвое, молодой человек. Или выигружай.

Поезд дёрнулся в двадцать три сорок, лягнул сцепками и пошёл. Бугай вталкивал в тамбур седьмого вагона второй мешок, когда за моей спиной встал проводник. Григорий Дубов, сорок пять лет, усы подковой, форменная фуражка на затылке, китель, под кителем свитер. Двадцать лет он возил Горький — Москва и знал цену каждому, кто входит в его вагон, ещё до того, как тот предъявит билет. Он смотрел на мешки, как кот смотрит на аквариум.

В тамбуре было накурено до рези в глазах. У окна стояли четверо: стриженные под ноль, в шинелях без погон, у каждого за пазухой торчал дембельский альбом в бархатной обложке. Они по очереди пили портвейн из горла и смеялись тем громким смехом, каким смеются в первый день свободы. Я не обратил на них внимания: у меня был проводник.

— Такса, — прибавил Дубов и поерзал сапогом по мешку. — По инструкции. Место есть место, хоть ты его на полку клади, хоть в тамбуре держи.

Сапог стоял, как на своём: на этой таксе Дубов жил.

— Григорий, — я прочитал имя на жетоне и ткнул в него пальцем, — за мешок как за место — это когда мешок лежит на месте, на полке. А мой мешок стоит в тамбуре. Место у нас одно, и то на нём Толик сидит. Вы мне скажите, по вашей инструкции: если пассажир сидит на багаже, то багаж — это пассажир или пассажир — багаж?

— Какой Толик? — Дубов нахмурился и впервые за всё время убрал сапог с мешка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.